Аксаков С.Т. 10.91

К 200-летию со дня рождения С. Т. АКСАКОВА

Последний поклон

Сквозь забытье, сквозь полусон-полуобморок, сквозь плач отца и отчаянные молитвы матери, осужденный врачами на умирание одиннадцатилетний отрок Сережа Аксаков вдруг обнаружил себя вынесенным из кареты и уложенным в высокой траве лесной поляны, в тени дерев. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мальчику так понравились, что он упросил не трогать его с места. И еще Сергей обнаружил, что лошади выпряжены и пущены на траву близехонько от него, и ему это было приятно. Он не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие или, вернее сказать, не понимал, что чувствовал, но ему было хорошо.

ЧУДНОЕ целительное действие природы одарило Россию писателем, занявшим странное и необычное положение в отечественной литературе. Начнем с того, что одну из лучших своих книг — «Детские годы Багрова-внука», запечатлевших не просто начало исцеления безнадежно больного мальчика, но и процесс слияния души будущего писателя с природой отчего края, старый полуслепой Аксаков продиктует близким чуть ли не на пороге своей смерти. Пятьдесят восемь лет пролегло между тем временем, когда излишне впечатлительный и предельно правдивый мальчик Сережа открывал для себя радости семьи и радости мира — стихию весеннего половодья, буйную роскошь летней башкирской степи и удивительно точным воплощением рождение души будущего художника. Что же заполнили эти годы?

Пробу пера Сережа Аксаков начал сразу же после выздоровления, заведя две тетради из толстой синей бумаги, куда еще детским слогом заносил свои охотничьи и рыбацкие наблюдения над повстречавшимися ему зайчиком, белкой, болотным куликом, плотичкой, пескарем. Он считал, что записывает никому не известные открытия, и был по существу прав. Открытия эти принадлежали только ему и исподволь подготовляли будущего автора «Записок об ужении рыбы» и «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии».

А еще стихи, которые он начал писать годам к пятнадцати, в казанской гимназии. Но пуще сочинительства стихов он любил декламацию и «игру на театре», собираясь даже в университетские годы написать что-то вроде рассуждения об умении, искусстве читать. Самое главное, считал молодой Аксаков, это преодолеть все поддельное, неестественное в чтении, а может быть, в себе самом. Неприятие фальши, бесхитростное и вроде бы безыскусное письмо Аксакова во многом определило его вспыхнувшей страстью к театру, который он сам сравнивал с безумным своим увлечением ружейной охотой.

ТУТ, наверное, уместно напомнить, что корни аксаковского таланта лежат в восемнадцатом веке. Девять первых лет ласковый, болезненно-впечатлительный ребенок прожил в старом столетии, чья старозаветность, патриархальность не спешили уступать веяниям века девятнадцатого. Здесь, по словам Владимира Солоухина, удивительно другое: уходя корнями (и лексикой) в восемнадцатый век, Аксаков своими ветвями достигает до нас, и, дотрагиваясь до этих ветвей, мы видим, что это не какой-нибудь омертвевший сушняк и хворост, а живые, полнокровные ветви.

В лучших своих стихах таким ведь был и Державин, с которым двадцатичетырехлетний Аксаков встретился в декабре 1815 года. Он читал патриарху русской поэзии его же собственные стихи, которые, как говорил Пушкин, «несмотря на неправильность слога, исполнены порывов гения». «Читая его,— оценивал далее державинский стих Пушкин,— кажется, что читаешь дурной вольный перевод какого-то чудесного подлинника».

Каждый, кто впервые прочтет Аксакова (а мимо него проходят не только в школе, но зачастую и на филфаке пединститута), почувствует прелесть новизны, очарование русского пейзажа, волшебные портреты нравственно прочных русских людей (взять хотя бы нежный образ отца писателя или благородную, горячую, порывистую мать героя «Семейной хроники»).

Но ведь все свои якобы докарамзинские по стилю книги — «Записки об ужении рыбы», «Записки ружейного охотника...», «Семейная хроника», «Воспоминания» и «Детские годы Багрова-внука» Аксаков напишет в последнее десятилетие своей жизни, когда не только Карамзина, но и Пушкина с Гоголем уже на свете не было.

В 1834 году по просьбе и под нажимом редактора альманаха «Денница» Аксаков срочно пишет девятистраничный очерк «Буран», публикуя его без своей подписи. Не зная, кто автор журнального этюда, критик «Московского телеграфа» отозвался о нем так: «Мастерское изображение зимней вьюги в степях оренбургских... Если это отрывок из романа или повести, то поздравляем публику с художественным произведением». Очерк «Буран» пришелся по душе и Пушкину и год спустя отозвался на известном описании метели во второй главе «Капитанской дочки».

Прочтите аксаковское: «Быстро поднималось и росло белое облако с востока, и когда скрылись за горой последние блеклые лучи закатившегося солнца,— уже огромная снеговая туча заволокла большую половину неба и посыпала из себя мелкий снежный прах... Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт, и последний свет красной догоравшей вечерней зари быстро зачеркнуло густою пеленою. Вдруг настала ночь... Наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами... Все слилось, все смешалось... Земля, воздух, небо превратилось в пучину кипящего снежного праха...» Прочтите, и теперь вспомните пушкинское: «Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело поднималась, росла и постепенно облегала небо...»

В Аксакове, конечно, больше подробностей, у него нет и строчки, оторванной от собственного бытия, собственного видения, придуманной, рожденной фантазией. Он не отказывается от увиденных подробностей и не использует уже опошленных эпитетов, отчего от его простого, спокойного и отчетливого повествования веет свежестью и оригинальностью.

И не из гоголевской «Шинели» выходил Аксаков. Он не поэтизировал своих помещиков, но и не высмеивал их и тем более не гневался на них. У горячо обожаемого им Гоголя всем творчеством двигало воображение, фантазия. У Аксакова исключительно память, без всяких намеков, символов, преднамеренности. Не зря так высоко оценил его «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука» Лев Толстой, автор знаменитой трилогии. Не случайно уроки Аксакова так или иначе чувствуются у Бунина в его нобелевском произведении «Жизнь Арсеньева» и у Виктора Астафьева в «Последнем поклоне».

Не в том, конечно, дело, что Бунин или Астафьев, прочитав «Багрова-внука», тут же принялись сочинять нечто подобное. Но вот если прислушаться к нежному, чуткому, отзывчивому сердцу Сережи Багрова, то вы, конечно же, почувствуете, что к нему окажется близким астафьевский мальчик Витя, который еще не знает, сколь несовершенна, недобра бывает человеческая натура, но все равно пытается как-то понять, простить взрослых, пожалеть их.

ДА, у Сергея Тимофеевича Аксакова не было ни одной строчки, оторванной от той прекрасной, полной жизни, которую он прожил. И прекрасная книга детских воспоминаний — последний поклон писателя, его завет молодым на добро и нежность.

Б. ВОЛКОВ.

«Русский писатель, эмигрирующий на Запад,— он ведь с собой ничего не берет. Немного воспоминаний и чемодан, в котором фрак для Стокгольма».

В. МАКСИМОВ.

ВЛИТЕРАТУРУ лучше всего приходить со своей территорией. Фолкнер пришел со своей Йокнапатофой, предварительно подсчитав ее площадь и количество жителей. Колумбиец Гарсиа Маркес стал владельцем и летописцем Макондо. Бабель застолбил Одессу. Возник Фазиль Искандер, а вместе с ним и его Чегем.

Владимиру Набокову так и не пришлось стать хозяином Выры и огромного имения, завещанного ему дядей Василием Ивановичем Рукавишниковым. Но в русской и американской литературе он навсегда остался ее единственным владельцем.

Из России в эмиграцию, на чужбину он вывез такое количество зрительных, вкусовых и слуховых ощущений, что стал бесспорным рекордсменом по этому виду памяти.

Из романа в роман заставлял он своего лирического героя — свое второе «я» — проходить несметное число раз одним и тем же маршрутом к родному дому. Той дорогой, которую он знал «на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело». Навсегда в его памяти остался «старый, в елочном стиле, деревянный дом, выкрашенный в бледно-зеленый цвет, большой, крепкий и необыкновенно выразительный, с балконами на уровне липовых веток и верандами, украшенными драгоценными стеклами». Опять и опять на страницах своих книг воскрешал он речку, «искрящуюся промеж парчовой тины»; мост, «вдруг разговорившийся под копытами» коня; парк, «там омраченный хвоей елей, тут озаренный листвой берез, громадный, густой и многодорожный».

В своей книге воспоминаний «Другие берега» Набоков писал: «Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям, но как же мне не быть благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений... Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства». Позже Набоков назовет свое детство «гармоничным», «совершеннейшим» и «счастливейшим».

Все это так. Но, отвлекшись на миг от субъективных восприятий писателя, вспомним, в какой семье он рос. Дед Набокова по отцу — министр юстиции двух царей — Александра II и Александра III. Отец Владимир Дмитриевич — член Государственной Думы и создатель партии кадетов. Через мать Елену Ивановну в семью влились миллионы купцов — сибиряков Рукавишниковых. В Петербурге Набоковы владели трехэтажным особняком в центре города. Было у них имение в Выре, вилла в Биаррице. Детей воспитывали не только традиционные для русского общества французские гувернантки, но и очень редкие в России английские учителя. В дорогое Тенишевское училище братьев Набоковых привозили на автомобиле с двумя ливрейными лакеями (хотя лакей на улицах столицы в начале века был анахронизмом). Достаток в семье был такой, что новое миллионное наследство от дяди Василия Ивановича не произвело в семье особого впечатления.

Вступить во владение имением дяди Владимир Набоков так и не успел. В 1919 году семья навсегда покинула русский берег.

Но — странное дело! — терпя лишения и невзгоды эмиграции, он с огромным достоинством нес бремя изгнания и бездомности. Какой поразительной верой в свою правоту проникнуты эти вот строки: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньжата и десятины... Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

Это лишенное каких-либо материальных притязаний признание помогает понять один из персонажей романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Дяде Диккенсу, старику-дворянину, принадлежит замечательное по афористичности суждение: «Аристократизм является высшей формой приспособленности и самой жизненной формой. Потому что именно тот, кто все имел, способен, не теряя духа, все потерять: именно тот, кто владел, может знать, что не в том, чтобы иметь, дело... Подлинный аристократизм — это способность обойтись без всего и до конца сохранить себя».

И все же: насколько осознанна и пережита была ими потеря Родины? Странно: юноша Набоков не глядел с борта парохода с тоской в глазах на постепенно удаляющийся русский берег. В тот момент, обдумывая очередной шахматный ход, он не отрывал глаз от шахматной доски. Цинизм? Ни в коем случае! Позже он сожалел о том, что не провел те последние минуты на корме корабля. Дело здесь не в его равнодушии. Те, кто уезжал из России в начале двадцатых, были уверены, что пройдет год-другой и их вынужденное изгнание кончится. Уезжали временно, переждать катаклизм. Но наступили тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые... И ничего не кончилось! И мир был открыт, и дети получали образование в Кембридже, и вновь наживались кое-какие капиталы, но мучила мысль, и не было сна оттого, что существует нечто невозможное—возвращение в Россию.

«Боялись смерти большевистской — и умерли смертью здесь. Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы», — писала Надежда Тэффи.

В романе «Дар» ей вторит Федор Годунов-Чердынцев, молодой русский эмигрант — поэт, живущий в Берлине: «Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды?».

И дальше, словно не в силах молчать о надежде, герой Набокова договаривает: «Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень».

Не случайно в творчестве писателя возникает навязчивый мотив, «звон путеводной ноты»: возвращение в Россию под чужой фамилией (скажем, «Никербокер»), по подложным документам, с измененной до неузнаваемости внешностью. Эту рискованную затею осуществит его герой Мартын в романе «Подвиг», который отправится на верную смерть в большевистскую Россию, перейдя границу где-то под Ригой. А еще герой рассказа «Посещение музея» случайным, фантастическим образом обнаружит себя шагнувшим из летнего немецкого городка в заснеженный Петроград.

Набоков с удивительным упорством лелеял неисполнимую мечту о том времени, когда Россия вдруг «встряхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся, займут свои прежние места — и Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля».

Русская эмигрантская литература той поры оставила множество прекрасных страниц, окрашенных ностальгией. Каждый из писавших мог повторить о России слова Зинаиды Шаховской: «Это моя страна, но не мой режим». Почти в каждой из написанных на чужбине строк звучит пронзительный мотив, ставший рефреном на долгие десятилетия: «Когда я вернусь?».

«А когда мы вернемся в Россию? — спрашивал Набоков.— Какой идиотской сентиментальностью, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая,— только человеческая, — но как им объяснить?».

Возвратиться в Россию было так же невозможно, как вернуть счастье детства, ибо Набоков знал, сколь пророческими могут оказаться для него его собственные строки:

«Бывают ночи:
только лягу,
В Россию поплывет
кровать;
И вот ведут меня
к оврагу,
Ведут к оврагу убивать».

И, сам себе противореча, он договаривал:

«Но, сердце, как бы
ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды,
ночь расстрела
и весь в черемухе овраг!».

Случайно или нет, но эти строки вызывают ассоциации с трагической судьбой Николая Степановича Гумилева, казненного в двадцатых числах августа 1921 года. В числе других приговоренных его заставили вырыть себе яму, столкнули в нее и расстреляли. Его, как писал В. Ходасевич, «убили ради наслаждения убийством вообще», «ради удовольствия убить поэта».

Возврата не было, и все же неотвязный образ России вновь и вновь диктовал Набокову ностальгические строки. «Как Бодлер в своем бельгийском аду, как Данте в Равенне» (слова Нины Берберовой), он помнил только одно и терзался только одним. Он придумывал себе бесстрастного чиновника, равнодушного, медленного приказчика, который «выдаст на родину билет». И обращаясь к Всевышнему, умолял: «Господи, я требую примет: кто увидит родину, кто—нет, кто уснет в земле нерусской». И до конца жизни выговаривал себе право: «Тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России».

С годами он приучился прятать свою боль за холодной надменностью получившего признание писателя. Но каким же незащищенным предстает он в своей мечте:

«Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением... я еще выйду с той станции, и без видимых спутников, пешком, пройду стежкой вдоль шоссе с десяток верст до Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении... Погода будет, вероятно, серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и малейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стона в тон столбам. Когда я дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то— или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого (но все-таки кое-что бесконечно и непоколебимо верное мне, разгляжу — хотя бы потому, что глаза у меня сделаны из того же, что тамошняя сырость), то, после всех волнений, я испытаю какую-то удовлетворенность страдания... (только и знаю, что оно будет с пером в руке). Но одного я наверняка не застану — того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов этого детства. Его плоды — вот они, — сегодня, здесь, — уже созревшие; оно же само ушло в даль, почище северно-русской».

В эмигрантской литературе русского зарубежья нет признания более искреннего по чувству и выразительного по письму, где горечь чужбины и жажда обретения покинутого Отечества высказалась бы столь обостренно-трагически.

В сущности, именно эта потеря Рая, Дома, Родины и неотвязная мечта об утраченном и создала Набокова-писателя. «Он, как Феникс, родился из огня и пепла Революции и изгнания. С его появлением целое поколение русской эмиграции было оправдано». Трудно не согласиться с этими замечаниями Нины Берберовой, не случайно назвавшей Набокова «королем, лишенным своего королевства».

Русские, оказавшиеся в эмиграции, реализовывались творчески в той степени, в какой они были «нагружены русским». Набоков, успевший выпустить в России тощую книжечку стихов и заслуживший убийственный отзыв Зинаиды Гиппиус («Передайте этому юноше, что он никогда не станет поэтом»), вырос в писателя такого огромного дара слова, что им по праву закрывается золотая книга русской классической прозы.

Что же касается «нагруженности русским», то он однажды точно заметил: «В смысле раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в преддверии катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души тем, что им по годам не причиталось».

Наделенный удивительной восприимчивостью к окружающему миру, мальчик унес в своей памяти такое количество примет, знаков, которое до самой смерти питало его воображение. До конца жизни он творил свой мир, свое королевство, в котором «все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет». До конца дней ему незримо сопутствовала «гордая русская муза». А воспоминания детства позволили Набокову выйти за пределы времени и обеспечили его собственное бессмертие.

«Я думаю, что ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, — когда слишком поздно спохватится», — пророчествовала героиня романа «Дар» молодому русскому эмигранту-поэту.

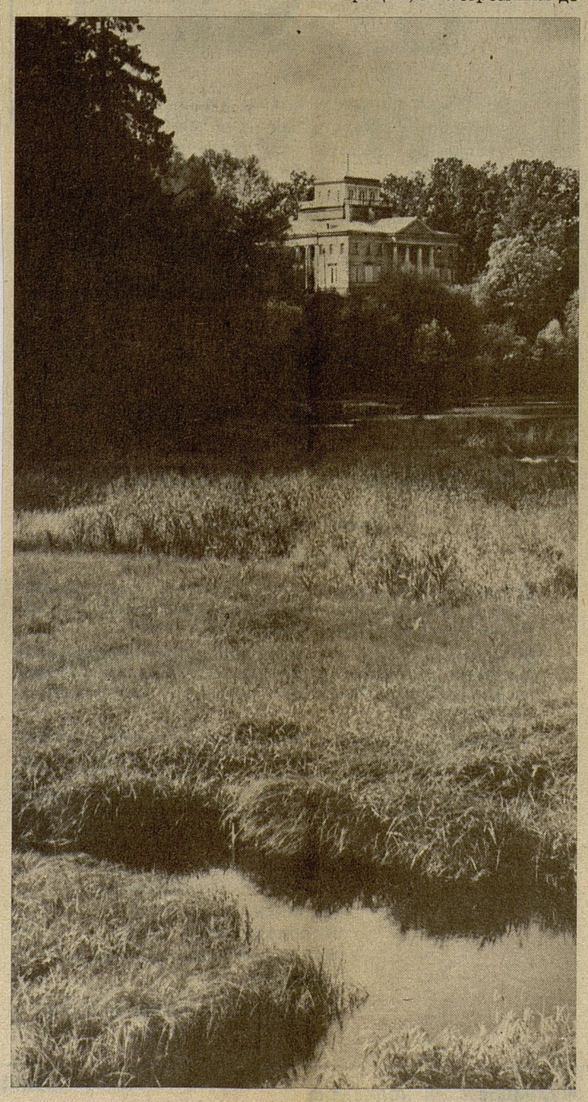
Ее предсказание сбылось. Но он и сам «наверняка знал», что вернется в Россию: «Во-первых, потому, что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому, что все равно когда, через сто, через двести лет, буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя».

Владимир Набоков умер, не узнав о своей первой публикации на Родине, так и оставшись в нашем сознании русским литературным изгнанником, который от родных берегов дальше Америки не уезжал и ближе Швейцарии не возвращался.

Он знал, что в одну реку нельзя войти дважды, даже если эта река такая медленная, как Оредежь...

Т. ГАГЕН.

ОДИНОКИЙ КОРОЛЬ



НА СНИМКАХ:

Отец и мать писателя.
Фотография В. Набокова, сделанная К. Буллой. 1908 год.
«Дом с колоннами» в Рождествено, который Набоков унаследовал от дяди. Фото А. Спицына.